

И. Б. ИТКИН

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК»: ДВА ПОТОПА

...вроде «Гамлета» или «Медного всадника»,
новые интерпретации которых появляются
чуть ли не каждый год...

Легкая ирония, отчетливо заметная в этом — сделанном по вполне серьезному поводу — высказывании А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова [1996: 291], понятна. В самом деле, трудно представить себе более безнадежное предприятие, чем попытка сказать что-либо новое о таком произведении, как «Медный Всадник». Во-первых, посвященная ему литература столь огромна и необозрима¹, что, вполне возможно, все стоящие внимания соображения и интерпретации уже были кем-то когда-то предложены. Во-вторых, посвященная ему литература столь огромна и необозрима, что любая новая работа, даже если сама по себе она и представляет какой-либо интерес, практически неизбежно обречена раствориться в общей массе.

Автор этих строк — даже не профессиональный пушкинист, его поверхностное знакомство с историей вопроса объяснимо. Однако та же проблема, как представляется, нередко встает и перед куда более сведущими исследователями. Во всяком случае, при чтении ряда наиболее, на наш взгляд, значительных работ о «Медном Всаднике», написанных в последние десятилетия, у нас сложилось впечатление, что их авторы ничего не знают друг о друге, вследствие чего несколько различных линий в изучении поэмы, соединение которых могло бы в значительной мере способствовать прояснению пушкинского замысла, до сих пор существуют в пушкинистике порознь. Таким образом, настоящая работа, хотя и содержит некоторые наши собственные наблюдения, в первую очередь представляет собой попытку такого рода синтеза.

В качестве отправной точки наших рассуждений позволим себе задаться вопросом: в каком городе происходит действие пушкинской поэмы, посвященной наводнению 7 ноября 1824 года? Вопрос этот кажется совершенно нелепым и, по видимости, допускает один-единственный ответ: разумеется, оно происходит в городе (Санкт-)Петербурге. Однако, как легко убедиться, этот ответ «неверен»: ни в одной строке поэмы **П е т е р б у р г** **н и** **р а з у** **н е** **н а з в а н** **П е т е р б у р г о м**! Во Вступлении использованы описательные выражения *Петра творенье* и *град Петров*, в пер-

вой части один раз встречается название *Петроград* (*Над омраченным Петроградом* ⟨...⟩) и один раз — название *Петрополь* (⟨...⟩ *И всплыл Петрополь*⟨,⟩ как *Тритон* ⟨...⟩)². В принципе это обстоятельство, пусть и несколько странное, можно было бы рассматривать как простую случайность. Слово *Петербург* (тем более — *Санкт-Петербург*) тяжело-весно, к нему, как известно, сложно подобрать хорошую рифму. Традиция именовать новую столицу не по-немецки, а по-гречески или по-славянски к началу 1830-х годов была уже вполне устойчивой: достаточно вспомнить «Петроград» С. П. Шевырева (1829) или «Послание к NN о наводнении Петрополя» графа Д. И. Хвостова (1824): с первым из этих стихотворений во многом перекликаются образы Вступления к пушкинской поэме [Аронсон 1936: 221–223], второе в ней непосредственно упомянуто³.

Имеются, однако, и соображения противоположного свойства. Во-первых, объединение наименований *Петроград* и *Петрополь* в рамках одного текста, как кажется, уже представляет собой нечто необычное. Во-вторых, официальное название города также неоднократно встречалось в стихах. В частности, оно присутствует (*Санктпетербург не образ есть чему?*) в стихотворении В. К. Тредиаковского «Похвала Ижерской земле и царствующему граду Санктпетербургу» (1752), написанном в преддверии 50-летия со дня основания города. Это стихотворение послужило одним из основных источников пушкинских размышлений⁴. В определенном смысле «Медный Всадник» может рассматриваться как развернутый ответ на восторженные риторические вопросы старшего поэта: *Что ж бы тогда, как пройдет уж сто лет?* (Тредиаковский) — *Прошло сто лет* ⟨...⟩ (Пушкин). В-третьих, через несколько лет, решая иную художественную задачу, Пушкин без малейших усилий включил упоминание о *Питербурге-городке* в легкие хорей «Пира Петра Первого». Наконец, в-четвертых, версия о случайности, на наш взгляд, окончательно опровергается тем фактом, что, если рассматривать весь текст поэмы в целом, Петербург упоминается в ней трижды: один раз — в подзаголовке («Петербургская повесть») и дважды — в прозаических авторских примечаниях. Иначе говоря, таким образом Пушкин дает нам понять: несмотря на то, что «происшествие, описанное в сей повести, основано на истине», город, в котором разворачивается само действие поэмы, — это не Петербург. Точнее говоря, не совсем Петербург. Говоря еще точнее — это в каком-то смысле три разных города, каждый из которых соотнесен с одним из персонажей поэмы.

Наименования *Петра творенье* и *град Петров*, как уже было сказано, встречаются во Вступлении и, естественно, соотносятся с Петром — единственным героем этой части поэмы, причем наиболее важным пред-

ставляется появление в тексте слова *творенье*. Уже начальные строки «Медного Всадника»:

На берегу пустынных волн
Стоял Он, дум великих полн,
И вдаль глядел <...> —

вызывают вполне определенные ассоциации с началом другого произведения — Книги Бытия: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма надъ бездною, и Духъ Божій носился надъ водою» (Быт 1:2)⁵. Эта переключка задает осмысление образа Петра как ветхозаветного Бога, демиурга, «из ничего» создавшего Петербург так же, как Бог создал мир. Такому осмыслению соответствуют и *строитель чудотворный* в реплике Евгения, и *могучий властелин судьбы*, и слова Александра I о *Божией стихии* (см. ниже). Весьма показательным для хода пушкинской мысли представляется даже то забавное обстоятельство, что фраза <...> *Что мог бы бог ему прибавить // Ума и денег* в одном из черновых вариантов читается: <...> *Что мог бы царь ему прибавить* <...> [Пушкин 1978: 37; Медриш 1980: 155]. Любопытно также употребление в поэме слова *гнев*:

Народ
Зрит б о ж и й г н е в и казни ждет.

Показалось
Ему, что грозного ц а р я,
Мгновенно г н е в о м возгоря,
Лицо тихонько обращалось...

Подобное восприятие фигуры Петра, конечно же, восходит к традиции XVIII века⁶:

<...> И, словом, се есть Петр, отчества Отец
Земное божество Россия почитает,
И столько олтарей⁷ пред зраком сим пылает,
Коль много есть Ему обязанных сердец

[Ломоносов 1959: 284–285]

Этими словами заканчивается известное стихотворение М. В. Ломоносова «Надпись к статуе Петра Великого» (1750), сочиненное, разумеется, задолго до появления «на площади Петровой» Медного Всадника.

И у Ломоносова, и у Пушкина Петр предстает божеством, и у Ломоносова, и у Пушкина речь идет об изображающей его статуе, то есть о земном воплощении этого божества. Тем заметнее принципиальное различие: если Ломоносов не видит в языческих «олтарях» ничего плохого, то для Пушкина уже само появление монумента — прямое нарушение заповеди

«не сотвори себе кумира». Собственно, именно этим и объясняется противоречивое отношение поэта к памятнику: несмотря на все свое величие, он *ужасен*, да и слова о *горделивом истукане* трудно признать за комплимент при самом «государственническом» подходе к интерпретации поэмы.

В одном из предназначенных для школьников советских изданий поэм Пушкина к строке «Кумир на бронзовом коне» имеется следующий комментарий классика пушкиноведения С. М. Бонди: «К у м и р — в языке Пушкина значит статуя» [Пушкин 1970: 163 примеч. 1]. Это трогательное примечание, в определенном смысле совершенно верное, не учитывает одного важного нюанса: в тех случаях, когда слово *кумир* употребляется Пушкиным в буквальном, а не переносном смысле, оно практически всегда означает статую б о г а [см. СП: 434–435]; ср., например:.

(…) на вес
Кумир ты ценишь Бельведерской.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!...

(«Поэт и толпа»)

Ее любимые сады
Стоят населены чертогами, вратами,
Столпами, башнями, кумирами богов (...)

(«Воспоминания в Царском Селе»)

Книгохранилище, кумиры, и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты музам в тишине (...)

(«К вельможе»)

Земля волнуется — с шатнувшихся колонн
Кумиры падают!

(«Везувий зев открыл...»)

Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени деревьев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум⁸.

(«В начале жизни школу помню я...»)

Весьма пронизательным читателем «Медного Всадника» оказался в этом смысле не кто иной, как Николай I⁹. Среди карандашных помет, сделанных на экземпляре рукописи августейшим цензором, находим следующие: «трижды подчеркнуто, отчеркнуто на полях и сопровождается значками „NB“ и „?“ слово „кумир“ (...) подчеркнуты и сопровождаются значком „NB“ словосочетания *Горделивым истуканом* и *строитель чудотворный*» [Ос-

поват, Тименчик 1987: 32; ср. Зенгер 1934: 521–523]. 14 декабря 1833 г. Пушкин записал в дневнике: «Мне возвращен Медный Всадник с замечаниями государя. Слово *кумир* не пропущено высочайшей ценсурой <...>» [Пушкин 1949, 12: 317].

Дело, впрочем, не только в употреблении слов *кумир* и *истукан*. Памятник описывается в поэме трижды, и все три раза при этом использована рифма *вышине* : (*на*) *коне*:

- (1) И обращен к нему спиною
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.
- (2) <...> И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.
- (3) И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко скачущем коне.

Как ни удивительно, ранее как будто не отмечалась явная переключка этих фрагментов (особенно первого из них) со следующими строками из сделанного Пушкиным в 1835 г. перевода начальных глав библейской Книги Юдифи («Когда владыка ассирийский...»):

И, над тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в тишине
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.

И петербургский монумент, и иудейская крепость стоят в *неколебимой* / *недостижимой* *вышине* не только потому, что реально возвышаются над окружающим их пейзажем, но и в силу своей связи с небом и Богом.

Такое восприятие образов Петра и Медного Всадника буквально витает в воздухе. Очень близко подошел к нему А. Н. Архангельский: «Ведь сам поэт, назвав Всадника *кумиром*, *истуканом*, прямо указал нам на библейские источники образа» [Архангельский 1999: 232]. Подхватывая пушкинское использование заглавных букв:

<...> И львов, и площадь, и Того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой <...>—

А. Н. Архангельский замечает: «Задолго до того, как будет брошен трагически-жалкий вызов кумиру: „Ужо тебе!..“, — создатель мещанской идиллии бросает косвенный упрек Тому, Кто „попустительствовал“ ее разрушению, — Творцу» [Архангельский 1999: 254]. Тем не менее исследователь как будто не решается сделать напрашивающийся вывод. Более определенно высказывается А. Е. Тархов, увидевший в Евгении «петербургского Иова» (мы полагаем, что это в высшей степени интересное предположение никоим образом не отменяет интерпретации образа Евгения, предлагаемой нами ниже) и, соответственно, прочитывающий всю поэму в ветхозаветном ключе: «Ропот Иова на „зиждителя мира“ — это отчетливая параллель к мятежу Евгения против „строителя чудотворного“ (...) а сверхчеловечески-грозное величие погони Всадника напоминает явление „бога в буре“ в „Книге Иова“» [Тархов 1977: 63]. Отметим еще наблюдение Ю. К. Щеглова, касающееся образа Петра в пушкинском творчестве в целом: «С фигурой Петра постоянно связывается у Пушкина представление о могучей силе, близкой к Богу и стихиям» [Жолковский, Щеглов 1996: 152]. Однако прямое сопоставление начальных строк «Медного Всадника» с началом Книги Бытия едва ли не впервые было предложено только в недавней яркой статье С. Бродоцкой [1999], как кажется, несправедливо обойденной вниманием пушкинистов. С. Бродоцкая, кстати, также обратила внимание на то обстоятельство, что непосредственно в тексте поэмы ни разу не встречается слово *Петербург*; при этом, правда, она интерпретирует использованные Пушкиным названия исключительно как «неологические (как мы видели, эта характеристика не совсем точна. — И. И.) имена, освежающие ощущение взаимосвязи города и его „строителя чудотворного“» [Бродоцкая 1999: 45].

Но если Петр — ветхозаветный Бог, а статуя Фальконе — заместившее его языческое изваяние, то наводнение 1824 года — это библейский потоп.

Лишенный каких бы то ни было мифологических обертонов «Петроград» — город Александра I. Вопрос о месте этого образа в системе персонажей поэмы остается предметом дискуссий по меньшей мере со времени появившейся почти полвека назад статьи А. И. Гербстмана [1963]. Подчеркнув, что «Александр противопоставлен Петру — и это противопоставление образует идейную ось произведения, самую сердцевину поэмы» [Гербстман 1963: 79], — утверждение, как представляется, несколько полемически преувеличенное, но по сути вполне справедливое, — Гербстман в результате приходит к выводу, который нельзя не признать поразительным даже с поправкой на то время, когда была написана статья: «(...) Пушкин не противопоставляет Евгения Петру, а изображает, как Евгений сам себя противопоставляет Петру, несправедливо видя в нем

виновника гибели любимой и крушения своего личного счастья, вместо того чтобы выступить с угрозами по адресу истинного виновника — Александра I с его окружением» [Гербстман 1963: 87].

Трактовка фигуры Александра в чисто негативном ключе, пусть и несколько смягченная, характерна и для многих позднейших исследователей. Так, А. Н. Архангельский [1999: 270–272] тоже бросает Александру упрек в бессилии и безволии и полагает, что Пушкин едва ли не высмеял царя в посвященном тому пассаже. Такая точка зрения представляется тем более странной, что в той же работе исследователь отмечает: «Тема Петра была для Пушкина болезненно-мучительной. На протяжении своей недолгой жизни поэт не раз менял отношение к этому (...) образу» [Архангельский 1999: 231]. Действительно, достаточно сказать, что хронологически «Медный Всадник» (1833) находится между вполне апологетическими по отношению к основателю Петербурга «Полтавой» (1828), где использована та же, что и в «Медном Всаднике», формула *Прошло сто лет...* [Тынянов 1929: 273; Лотман 1975: 47–48], и «Пиром Петра Первого» (1835). Но ведь не менее сложным было и отношение Пушкина к Александру. Кажется логичным предположить, что периоды положительной оценки этих двух столь несхожих государственных деятелей находились у поэта, если можно так выразиться, в противофазе.

Ключевую роль в ответе на вопрос о том, почему Пушкин счел необходимым включить *покойного царя* в число персонажей «Медного Всадника», играет, на наш взгляд, одно из немногих встречающихся в его поэзии упоминаний Александра I в явно положительном контексте:

Ура, наш царь! так! выпьем за царя.
Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал лицей.

(«19 октября»)

Едва появившись на дворцовом балконе, Александр комментирует происходящее знаменитой репликой:

«С божией стихией
Царям не совладеть».

Весьма убедительным представляется предположение, что Пушкин знал подлинные слова Александра I из его письма Н. М. Карамзину от 10 ноября 1824 г.: «Воля Божия: нам остается преклонить главу перед нею» [Вацууро 1969: 167–168], а возможно, и слова самого Карамзина из «Записки о древней и новой России», сказанные именно в связи с основани-

ем Петром Петербурга: «Человек не одолеет натуры!» [Осват, Ти-менчик 1987: 80–81]. Каков бы ни был источник обсуждаемой фразы, в поэме она непосредственно соотносится со словами Вступления:

Да умирится же с тобой
И побежденная стихия ⟨...⟩

Царям с Б о ж и е й стихией не совладеть. Кто же таков тогда Петр? И так, император Петр — Бог, император Александр (как подчеркнул Пушкин восемью годами раньше) — всего лишь человек; именно в этом качестве он необходим в поэме, именно в этом качестве он действительно противопоставлен Петру по крайней мере в трех отношениях: Петр покоряет стихию — Александр смиряется перед ней; Петр мыслит (⟨...⟩ *Стоял Он, дум великих полн* ⟨...⟩; *И думал Он* ⟨...⟩) — Александр чувствует (*На балкон, // Печален, смутен, вышел он* ⟨...⟩); наконец, Петр губит людей — Александр пытается их спасти. Тем самым, если сентенция Карамзина относительно неспособности человека (даже Петра) справиться с природой действительно была известна Пушкину, вполне понятно, почему поэт вложил ее парафраз именно в уста Александра.

Таким образом, Петрополь остается «на долю» последнего живого персонажа поэмы — Евгения. При этом, если, скажем, у того же графа Хвостова греческий вариант названия оставался условным поэтизмом, то Пушкин специально подчеркнул его связь с античной мифологией, сравнив затопленный город с греческим же морским божеством (⟨...⟩ *И всплыл Петрополь, как Тритон* ⟨...⟩)¹⁰. Это обстоятельство как будто делает предложенное нами сопоставление совсем уж безнадежным: в образе Евгения на первый взгляд не обнаруживается ровным счетом ничего древнегреческого (не считая, разумеется, имени — что, впрочем, с равным успехом относится и к обоим упоминаемым в поэме русским императорам). Но так ли это на самом деле?

В оставшейся, подобно статье С. Бродоцкой, незаслуженно малоизвестной, но чрезвычайно содержательной заметке С. Л. Козлова «Из комментариев к „Медному всаднику“ (античная и европейская традиция)» было впервые показано, что изображение Пушкиным наводнения 1824 года отсылает «не только к соответствующему месту Ветхого Завета, но и к другому ключевому тексту европейской литературной традиции: хрестоматийно известным в пушкинскую эпоху „Метаморфозам“ Овидия» [Козлов 1988: 3]. Тем самым история Евгения и Параша осмысливается как новый, трагический вариант истории Девкалиона и Пирры. С. Л. Козлов полагает даже, что имена героев поэмы были выбраны Пушкиным по созвучию с их греческими прототипами: *Девкалион* — *Евгений*, *Пирра* — *Параша*. Это суждение представляется нам слишком радикальным, что, однако, ни

в коей мере не ставит под сомнение общий вывод исследователя о «сходстве героев и решительной разнице их судеб: пушкинский Девкалион, несмотря на всю <изначальную. — И. И.> богобоязненность, лишается своей Пирры, которая гибнет, несмотря на всю невинность» [Козлов 1988: 3–4].

Параллелями с сюжетом о Девкалионе античная тематика «Медного Всадника» не исчерпывается. Один из центральных эпизодов поэмы — переправа Евгения через Неву:

Евгений смотрит: видит лодку;
Он к ней бежит как на находку,
Он перевозчика зовет —
И перевозчик беззаботный
Его за гривенник охотно
Через волны страшные везет.

И долго с бурными волнами
Боролся опытный гребец <...>

По нашему мнению, в этом описании со всей определенностью узнается переправа через Стикс на лодке Харона [ср. Найман 1996: 135]; особенно показательны упоминания *гривенника* (≈ обола) и *опытного гребца*. Переплыть реку, герой поэмы в самом буквальном смысле попадает в царство мертвых:

<...> кругом,
Как будто в поле боевом,
Тела валяются —

а вскоре, узнав о смерти Параши, теряет рассудок. В дальнейшем Евгений предстает перед нами именно как человек, вернувшийся из иного мира:

И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь ни человек,
Ни то ни сё, ни житель света,
Ни призрак мертвы й...

Как отмечалось уже не раз, сравнение наводнения 1824 года со всемирным потопом, вызывавшееся самыми разными настроениями — от циничной иронии до вполне серьезных эсхатологических страхов, — было для современников общим местом и нашло свое отражение в том числе и в пушкинской переписке (ср., например, [Осповат, Тименчик 1987: 6–7]). А уже в следующем, 1825 году «петербургский потоп» появляется пушкинской в эпиграмме на альманах А. Бестужева и К. Рылеева «Полярная звезда»:

Напрасно ахнула Европа,
Не унывайте, не беда!
От п<етербургского> потопа
Спаслась П.<олярная> З.<везда>.

Бестужев, твой ковчег на бреге!
 Парнасса блещут высоты;
 И в благотельном ковчеге
 Спаслись и люди и скоты.

Отметим два важных момента: во-первых, осмысление ноябрьских событий в библейском духе задано здесь напрямую (пусть и иронически), а вторых, в стихотворении неожиданно появляются мотивы греческой мифологии: вместо библейского Арарата ковчег под водительством Бестужева оказывается на склоне античного Парнаса. Об этой «подмене» Арарата Парнасом в тексте эпиграммы писали Б. М. Гаспаров [1982: 199] и К. Блюм [2002: 158], но без какого-либо сопоставления с «петербургской повестью».

Между тем, на наш взгляд, связь здесь самая прямая. В самом тексте «Медного Всадника» наводнение также называется *потопом*:

⟨...⟩ И место, где потоп играл ⟨...⟩

Описание реки, Петровской площади и памятника, частью которого является эта строка, непосредственно предшествует столкновению Евгения с «горделивым истуканом». Если наши наблюдения верны, это не случайно: заостряя прием, намеченный в эпиграмме 1825 года, Пушкин строит поэму именно на столкновении двух мифов о всемирном потопе — ветхозаветного (как убедительно показано в статье С. Бродоцкой) и древнегреческого (как не менее убедительно продемонстрировано в статье С. Л. Козлова). Воплощением ветхозаветного мифа выступает Петр (и его скульптурный двойник — Медный Всадник), сам и сотворивший мир, изображенный в поэме, и обрекший его обитателей на гибель. Воплощением греческого мифа оказывается Евгений — новый Девкалион, к несчастью своему родившийся в том краю, где ни любовь, ни добродетель не могут служить защитой решительно ни от чего¹¹.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. пугающе длинный список, заканчивающийся еще более пугающими словами «и многие другие», в книге А. Л. Осповата и Р. Д. Тименчика [1987: 328]. А ведь со дня ее выхода прошло уже более 20 лет!

² Здесь и далее «Медный Всадник» цитируется по изданию, подготовленному Н. В. Измайловым [Пушкин 1978]. Остальные произведения цитируются по большому академическому изданию [Пушкин 1937–1949].

³ Вариант *Петрополь* неоднократно встречается еще у Ломоносова в одах 1740-х годов, вариант *Петроград* — у К. Н. Батюшкова в «Ответе Тургеневу» (1812) и др. У А. Х. Востокова *Петропольскія башни* в первой редакции осенней оды к Теону,

во второй редакции этого же стихотворения названы *башиями Петрограда* [Восток-ков 1802: 99; 1805: 46].

⁴ Первым на эту параллель обратил внимание, по-видимому, Г. М. Шпаер [Тимофеев 1941: 231].

⁵ Синодальный перевод. Доступный во времена Пушкина текст Елизаветинской Библии (по изданию: *Біблія сірѣчь Кнѣги Сѣѣннагѣ Писанія Вѣтхагѣ и Новагѣ Заѣѣта*, С[анктъ]-П[етер]бургъ 1751; [т. I]): *Зѣмля же вѣ невѣдѣна, и невѣтрѣна: и тма верхѣ вѣздны: и дѣхъ Бжій ношашегл верхѣ воды.* — *Ред.*

⁶ О других аспектах проблемы «„Медный Всадник“ и поэзия русского классицизма» см. пионерскую статью [Пумпянский 1939].

⁷ В этом месте в цитируемом здесь академическом издании произведений Ломоносова (как и во всех источниках указанного издания) читается: *олтарей*. Отметим, что в данном случае принятое написание отражает не только орфографию, но и орфоэпию Ломоносова (см., например: П. Н. Берков, 'Издания русских поэтов XVIII века: История и текстологические проблемы', *Издание классической литературы: Из опыта «Библиотеки поэта»*, Москва 1963, 119–120). — *Ред.*

⁸ Описание одного из упоминаемых в стихотворении «кумиров» — статуи Аполлона («Дельфийского идола») — обнаруживает несомненные черты сходства с описанием памятника Петру в «Медном Всаднике» [Гаспаров 1982: 319].

⁹ О том же в несколько ином ключе пишет и Ю. Б. Боров (см. [Боров 1981: 235–238] и особенно [Боров 1981: 327 примеч. 1]).

¹⁰ Мнение Ю. Б. Борова о том, что в этих строках «п о п о я с погруженный в воду» Петербург сравнивается «с земноводным пресмыкающимся (?! — *И. И.*)» [Боров 1981: 179], должно быть отнесено к разряду биологических курьезов.

¹¹ Автор выражает искреннюю благодарность И. А. Пильщикову за ценные библиографические указания, К. Г. Боленко, С. А. Бурлак, М. А. Гистер, Д. А. Ермольцеву, Н. А. Зевахиной, С. Л. Козлову, Е. И. Лебедевой, Е. Э. Ляминой, С. Ю. Неклюдову, Д. С. Николаеву, Н. В. Перцову, Ю. М. Силинг, Я. Г. Тестельцу, Н. А. Шапиро и другим коллегам за помощь в работе над статьей и критические замечания.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Аронсон, М.: 1936, 'К истории «Медного Всадника»', *Пушкин: Временник Пушкинской комиссии*, [вып.] 1, 221–226.
- Архангельский, А. Н.: 1999, *Герои Пушкина: Очерки литературной характеристики*, Москва.
- Блюм, К.: 2002, 'Ковчег в «Сумерках» Боратынского', *К 200-летию Боратынского: Сборник материалов международной научной конференции, состоявшейся 21–23 февраля 2000 г. (Москва — Мураново)*, Москва, 157–160.
- Боров, Ю. Б.: 1981, *Искусство интерпретации и оценки: (Опыт прочтения «Медного всадника»)*, Москва.
- Бродоцкая, С.: 1999, 'Поэма А. С. Пушкина «Медный всадник» в контексте библейских ассоциаций', *Новая еврейская школа: Педагогический альманах*, С.-Петербург, вып. 5, 45–58.

- Вацуро, В. Э.: 1969, 'Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов', *Пушкин: исследования и материалы*, Ленинград, т. VI: Реализм Пушкина и литература его времени, 150–170.
- Возтоков [= А. Востоков]: 1802, 'Осенний вечер. К Теону', *Свиток муз*, С.-Петербург, кн. II, 99–104.
- Востоков, А.: 1805, 'Осень: Ода к Теону, в 1801-м году', А. Востоков, *Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах*, С.-Петербург, ч. I, 46–49.
- Гаспаров, Б. М.: 1982, *Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка*, Wien (= Wiener Slawistischer Almanach; Sonderband 27).
- Гербстман, А. И.: 1963, 'О сюжете и образах «Медного всадника»', *Русская литература*, № 4, 77–88.
- Жолковский, А. К., Ю. К. Цеглов: 1996, *Работы по поэтике выразительности: Инварианты — Тема — Приемы — Текст*, Москва.
- Зенгер, Т.: 1934, 'Николай I — редактор Пушкина', *Литературное наследство*, Москва, т. 16/18, 513–536.
- Козлов, С. Л.: 1988, 'Из комментариев к «Медному всаднику»: (античная и европейская традиция)', *Литературный процесс и проблемы литературной культуры: Материалы для обсуждения*, Таллин, 3–5.
- Ломоносов, М. В.: 1959, *Полное собрание сочинений*, Москва—Ленинград, т. 8: Поэзия, ораторская проза, надписи. 1732–1764.
- Лотман, Ю. М.: 1975, 'Посвящение «Полтавы» (текст, функция)', *Проблемы пушкиноведения: Сборник научных трудов*, Ленинград, 40–54.
- Медриш, Д. Н.: 1980, *Литература и фольклорная традиция: Вопросы поэтики*, Саратов.
- Найман, А.: 1996, 'Русская поэма: четыре опыта', *Октябрь*, № 8, 128–152.
- Осват, А. Л., Р. Д. Тименчик: 1987, «Печальную повесть сохранить...»: (об авторе и читателях «Медного всадника»), 2-е издание, переработанное и дополненное, Москва.
- Пумпянский, Л. В.: 1939, '«Медный Всадник» и поэтическая традиция XVIII века', *Пушкин: Временник Пушкинской комиссии*, Москва—Ленинград, [вып.] 4/5, 91–124.
- Пушкин: 1937–1949, *Полное собрание сочинений*, [Москва—Ленинград].
- Пушкин, А. С.: 1970, *Поэмы*, Комментарий С. Бонди, Москва.
- Пушкин, А. С.: 1978, *Медный Всадник*, Издание подготовил Н. В. Измайлов, Ленинград.
- СП — *Словарь языка Пушкина: В 4 т.*, Москва 1956, т. II: З—Н.
- Тархов, А. Е.: 1977, 'Повесть о петербургском Иове', *Наука и религия*, № 2, 62–64.
- Тимофеев, Л. И.: 1941, '«Медный Всадник»: Из наблюдений над стихом поэмы', *Пушкин: Сборник статей*, Под редакцией А. Еголина, Москва, 214–242.
- Тьяннов, Ю. Н.: 1929, 'Пушкин' [1926], Ю. Н. Тьяннов, *Архаисты и новаторы*, Ленинград, 228–291.